

д м и т р и й ш е р и х



Г О Р О Д У Э Ш А Ф О Т А

ЗА ЧТО И КАК КАЗНИЛИ
В ПЕТЕРБУРГЕ



Дмитрий Юрьевич Шерих Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6449743

Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге: Центрполиграф;

М.:; 2014

ISBN 978-5-227-04799-1

Аннотация

Новая книга известного петербургского журналиста Дмитрия Шериха приподнимает завесу над одной из самых темных граней истории города. Речь пойдет о казнях и обо всем, что с ними связано. Кто, за что, каким образом, кем был подвергнут ужасной процедуре на протяжении трехсот лет – все это читатель найдет на страницах книги. Автор с присущим ему литературным дарованием сумел найти достойную форму для такого непростого содержания. Он описывает события, не смакуя подробности, а пытаясь осмыслить происходящее с точки зрения истории, этики, психологии. Большой интерес представляют также собранные свидетельства очевидцев казней. Книга адресована взрослым людям.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	20
Глава 3	33
Глава 4	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Дмитрий Шерих

Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге

Глава 1

Тридцать седьмой год. «Пирамиды мгновенно обратились в ужасный костер». Злоключения писца. Колесование и Андреевский крест. «Отсесть для скорой смерти голову».

Тридцать седьмой год. Впрочем, для начала – несколько слов о самой теме книги, о том, что же такое были казни в петербургской жизни. События трагические и страшные, они неизменно привлекали к себе внимание горожан – и благодаря тому заняли видное место в летописях Северной столицы. О смерти на эшафоте пятерых декабристов знает любой современный школьник, как и о казни пятерых же народовольцев, кому-то доводилось читать и воспоминания Ильи Ефимовича Репина о том, как художник стал очевидцем экзекуции над Дмитрием Каракозовым, однако казней в истории Петербурга были не единицы и не десятки – сотни! Многие ли из современных читателей слышали, например, о траги-

ческой судьбе самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича и лишившегося за это головы? Или о расстреле авантюриста Эболи де Триколи и его сообщницы Бритт, чьи тела потом осматривал в покойницкой молодой литератор Исаак Бабель?

Какие-то публичные экзекуции удостоились большого числа исследовательских и популярных публикаций, но далеко не все: в большинстве своем петербургские казни изучены мало. В их истории хватает белых пятен. Даже ключевые обстоятельства гибели пятерых декабристов, как узнает наш читатель, до сих пор не прояснены. Множество неясностей и с казнями, происходившими в революционную пору – как до 1917 года, так и после, практически не изучена история казней в блокадном Ленинграде и на оккупированных территориях его пригородов...

Обо всем этом – впереди.

А пока год тридцать седьмой. Мрачный, отмеченный в наших исторических летописях небывалыми событиями. Ни до него, ни после не случилось в городе такого числа публичных смертных казней, причем хронологически все они уложились в недлинный четырехмесячный период: 8 августа при большом стечении зрителей с жизнью простились три жителя города на Неве, одиннадцать дней спустя – сразу семеро, 14 ноября – еще трое.

И какие то были казни! Не только повешение, но и сожжение на костре, колесование, обезглавливание, повешение за

ребра на крюк – едва ли не полный ассортимент услуг палача. А двум приговоренным залили в горло расплавленный металл – смерть мучительнее и вообразить себе трудно.

Читатель уже, без сомнения, понял: хоть и тридцать седьмой, но не двадцатого столетия, разумеется, а восемнадцатого. Суровые времена правления императрицы Анны Иоанновны, которая в иные годы проявляла монаршее снисхождение к подданным, но подчас демонстрировала им всю карающую мощь августейшей десницы.

В 1737-м к такой суровости поводы имелись весомые. В мае случился разрушительный пожар в Москве, и с этого момента тревога не ослабевала в обеих столицах России. Полиция предпринимала особые меры предосторожности – и особенно была настороже после того, как на крыше петербургского дома купца Линзена (примерно на месте будущих казарм Павловского полка) обнаружилась смоленая кубышка с порохом, оклеенная бумагой и обвязанная мочалом. К тому же люди хорошо помнили прошлогодний августовский пожар, когда в огне сгорело около сотни домов Адмиралтейской части столицы, причем пламя полыхало восемь часов.

Однако в ночь на 24 июня пожар разразился вновь – и оказался поистине страшен. В огне погибли десятки человек, сотни домов были уничтожены, после чего власти немедленно приступили к поиску поджигателей. Всех заподозренных отдавали в руки Тайной канцелярии, а она в аннинские времена обладала широкими возможностями воздействия

на несговорчивых. В итоге виновников обнаружилось двое: крестьянский сын Петр Петров, «называемый Водолаз», и крестьянин Владимир Перфильев. Их преступные умыслы и действия в подробностях излагает именной указ императрицы Анны, изданный 30 сентября 1737 года: «Будучи в Санкт-Петербурге, за новым Морским рынком на лугу, в палатке напився пьяны играли на том же лугу разных чинов с людьми зерню, и проигрався, прямым изменническим злым своим умыслом, не страшась по Государственным правам жесточайшей смертной казни, и вечного от Бога осуждения, злодейски думали, чтоб в Морской улице обывательские дома зажечь, и во время того пожара, из чужих имений себе прибыль получить, и желая то свое злодейство в действие произвести, помянутый Петров купил на том рынке у пушкаря пороху, и сделав изо льна фитиль, с общего ж с ним Перфильевым совета, вышеозначенного 6 дня Июля, пришед на имеющийся тогда в большой Морской улице близ Синего моста кабак, и на том кабаке, по согласию между собою, оный Петров тот порох упомянутым льняным фитилем зажег, и учинился от того известный великий пожар, и сожалительное бедным обывателям разорение».

В общем, картина ясна: увлеклись два бедовых человека игрой в зернь – старинной такой азартной забавой, в которой использовались кости с белой и черной сторонами. Поиздержавшись, решили с пьяных глаз поправить дела мародерством, чего ради и подожгли кабак у Синего моста. Неко-

которые историки сомневаются, правда, в достоверности показаний Петрова и Перфильева: самооговоры в те времена случались нередко, однако у следствия сомнений не было: виновны. Вместе с двумя крестьянами под горячую руку правосудия попала и «Володимерского пехотного полка, солдата Семена Зуева жена Стефанида Козмина»: она и прежде была «за учиненное воровство розыскивана и наказана публично кнутом, однако ж после того, забыв страх Божий, и такое жестокое наказание, с упомянутым Перфильевым жила блудно, и о таком их злом намерении ведала, и нигде заблаговременно на них не донесла, и тем допустила то их злое намерение в действо произвести, к великому многих здешних обывателей разорению, и сама с ними в том сообщницею была, ибо во время того пожара поймана с чужими краденными пожитками».

Приговор всем троем был демонстративно суров: Стефаниде Козминой отсечь голову, Петрова и Перфильева сжечь на месте учиненного ими пожара. Поскольку власть считала публичную казнь действием педагогическим, предупреждением всем потенциальным нарушителям закона, а о предстоящих экзекуциях оповещала заранее – немудрено, что 8 августа 1737 года на пепелище собралась толпа зрителей. Для пущей острастки велено было явиться на казнь и служащим столичных учреждений. Намеченную на этот день Конференцию (современный Ученый совет. – *Д. Ш.*) петербургской Академии наук пришлось даже отменить: академики подчи-

нились приказу.

Подчинились, впрочем, без большой неохоты. В ту пору публика и сама посещала подобные зрелища с интересом; для тогдашних петербуржцев это был настоящий спектакль с элементами хоррора и саспенса. Как писал знаток русской истории XVIII столетия Евгений Викторович Анисимов, «люди устремлялись на площадь, протискивались к эшафоту совсем не потому, что стремились получить, как думала власть, „урок на будущее“. Ими двигало любопытство. Также их привлекали всякие церемонии и шествия – парады, коронации, фейерверки, запуск воздушного шара. Валом валили люди в балаганы на Масленице, заполняли пять тысяч мест в оперном театре времен Елизаветы Петровны, чтобы насладиться волшебным зрелищем – в их повседневной, серой жизни развлечений было так мало».

Итак, развлечение. Мы не знаем, пришли ли приговоренные на место казни своими ногами, сопровождаемые конвоем, или их доставили на повозках – сведений об этом не сохранилось. Зато о дальнейшем оставил выразительные воспоминания шотландский врач Джон Кук, по стечению обстоятельств оказавшийся в тот день на пожарище.

«Каждый из мужчин был прикован цепью к вершине большой вкопанной в землю мачты; они стояли на маленьких эшафотах, а на земле вокруг каждой мачты было сложено в форме пирамиды много тысяч маленьких поленьев. Эти пирамиды были столь высоки, что не достигали лишь двух-трех

саженей до маленьких помостов, на которых стояли мужчины в нижних рубашках и подштанниках. Они были осуждены на сожжение таким способом в прах.

Но прежде чем поджечь пирамиды, привели и поставили между этими мачтами женщину и зачитали объявление об их злодействе и приказ о каре. Мужчины громко кричали, что хотя они и виновны, женщина ни в чем не повинна. Тем не менее ей была отрублена голова. Ибо русские никогда не казнят женщин через повешение или сожжение, каким бы ни было преступление. Возможно, если бы императрица Анна находилась в Петербурге, женщина получила бы помилование. Однако говорили, что ее вина была совершенно доказана, и о том, что злоумышленники были исполнены решимости совершить это отвратительное преступление, женщина знала еще за несколько дней до него.

Как только скатилась голова женщины, к пирамидам дров был поднесен факел, и поскольку древесина была очень сухой, пирамиды мгновенно обратились в ужасный костер. Мужчины умерли бы быстро, если бы ветер часто не отдувал от них пламя; так или иначе, оба они в жестоких муках испустили дух меньше чем через три четверти часа».

Стоит пояснить тут, что публичное чтение приговора было неизменной частью ритуала казни; в петровские времена его произносили в форме личного выговора преступнику от государя, позже перешли на обезличенную форму. Нередко преступников ждало помилование, но такой вердикт огла-

шался в самый последний момент, когда преступники находились уже на эшафоте, после паузы, невероятно томительной для приговоренных.

Томилаась и публика, не зная заранее: ждать ли снисхождения от монаршей особы, или нет. В петербургской истории случалось и то, и другое.

В 1737 году, как мы уже знаем, снисхождения не случилось, а казнь Петрова и Перфильева оказалась мучительной: сорок пять минут мук на костре – испытание, в том числе и для зрителей. Свое драматическое описание казни, впрочем, Джон Кук дополняет легкомысленной байкой, снижающей градус напряжения: «Во время этой казни случилось происшествие, многих позабавившее. Сразу после того как мужчины скончались, некий легкомысленный писец, одетый очень опрятно, бежал через руины поглядеть на казнь. Вся земля была покрыта головешками от последнего пожара, так что никто не мог безопасно ходить где-либо, кроме замощенных улиц, поскольку русские обязаны содержать свои улицы и дома свежими и чистыми. В каждом доме есть для этого удобство, и бедный писец, глаза на преступников, когда поспешал к месту казни, бултыхнулся в одну из этих [выгребных ям], погрузившись выше, чем по пояс.

Многие гвардейцы и прочие, которым мало показалось поиздеваться и посмеяться над несчастным писцом, бросали в нечистоты дрова, кирпичи и камни, стараясь всего его забрызгать. Такое обхождение обострило изобретательность

отчаявшегося писца и воспламенило его негодование до последней степени.

Поскольку эти люди были близко от него, он принялся швырять бывшие вокруг зловонные нечистоты, заляпав ими многих и заставив ретироваться на большее расстояние. Таким способом он без особенных помех выбрался, но его ярость была столь велика, что, вместо того чтобы идти домой, он стал бегать среди гвардейцев, мня их причиной нелепого положения, в которое угодил. Многих из них он запачкал, хорошо зная, что они не избегнут наказания за испорченную одежду. Да уж, думаю, русских гвардейцев никогда не пытались обратить в столь позорное бегство».

Живописный эпизод, что уж тут скажешь, и заметим: ни слова не говорит шотландец Кук о неприятных ароматах, распространявшихся вокруг несчастного писца, – видимо, куда сильнее были в тот день жуткие запахи аутодафе!

Процитированный выше указ Анны Иоанновны не только оповестил подданных о суровом приговоре поджигателям, но и грозил смертью всем тем, кто рискнет поджигать впредь: «Таковым злодеям и их сообщникам и ворам, которые во время пожаров с краденым пойманы будут, чинить, по силе Наших Государственных прав, жесточайшие смертные казни». Обещаны были кары тем, кто знал о намерениях поджигателей, но вовремя не донес на них: им повелевалось «чинить такие ж жесточайшие смертные казни, как и самим зажигателям».

Впрочем, две другие состоявшиеся в 1737 году публичные казни с поджогами связаны не были. Девятнадцатого августа, опять при большом стечении публики, смерти предали уличных разбойников, и палачи продемонстрировали целый спектр своих умений: огородник Антип Афонасьев и Андрей Парыгин были «повешены за шею», а вот пятерых оставшихся преступников ждала так называемая квалифицированная смертная казнь, назначавшаяся за особые виды преступлений.

Еще с петровских времен «для вящих воров и разбойников» и особенно тех, кто «чинили смертные убийства и мучения», полагалось повешение за ребра. Острый медный крюк вбивали приговоренным под ребра, агония растягивалась на несколько часов, а мучительная смерть наступала от постепенной остановки дыхания. Именно эта участь ждала в тот августовский день бурлаков Егора Герасимова и Федора Гусева.

Александра Козмина, Ивана Арбацкого и Карпа Наумова в тот день колесовали, а затем обезглавили. Зрелище колесования могло впечатлить даже привычных ко многому современников. Выдающийся дореволюционный знаток права Александр Федорович Кистяковский, изучавший историю смертной казни, так описывал эту экзекуцию, применявшуюся не только в России, но и в странах европейских – Англии, Германии, Италии, Франции: «К эшафоту привязывали в горизонтальном положении Андреевский крест, сделан-

ный из двух бревен. На каждой из ветвей этого креста делали две выемки, расстоянием одна от другой на один фут. На этом кресте растягивали преступника так, чтобы лицом он обращен был к небу; каждая оконечность его лежала на одной из ветвей креста, и в месте каждого сочленения он был привязан к кресту. Затем палач, вооруженный железным четверугольным ломом, наносил удары в часть члена между сочленением, которая как раз лежала над выемкой. Этим способом переламывали кости каждого члена в двух местах. Операция оканчивалась двумя или тремя ударами по животу и переломлением спинного хребта. Разломанного таким образом преступника клали на горизонтально поставленное колесо так, чтобы пятки сходились с заднею частью головы, и оставляли его в таком положении умирать».

Колесованных преступников ждала разная участь: некоторым из милосердия отрубали голову, остальных ждала медленная смерть на колесе. Поскольку опытные палачи стремились не наносить ущерба внутренним органам человека, агония затягивалась подчас надолго – даже на несколько дней, как отметил в своих записках датский посланник в России Юст Юль.

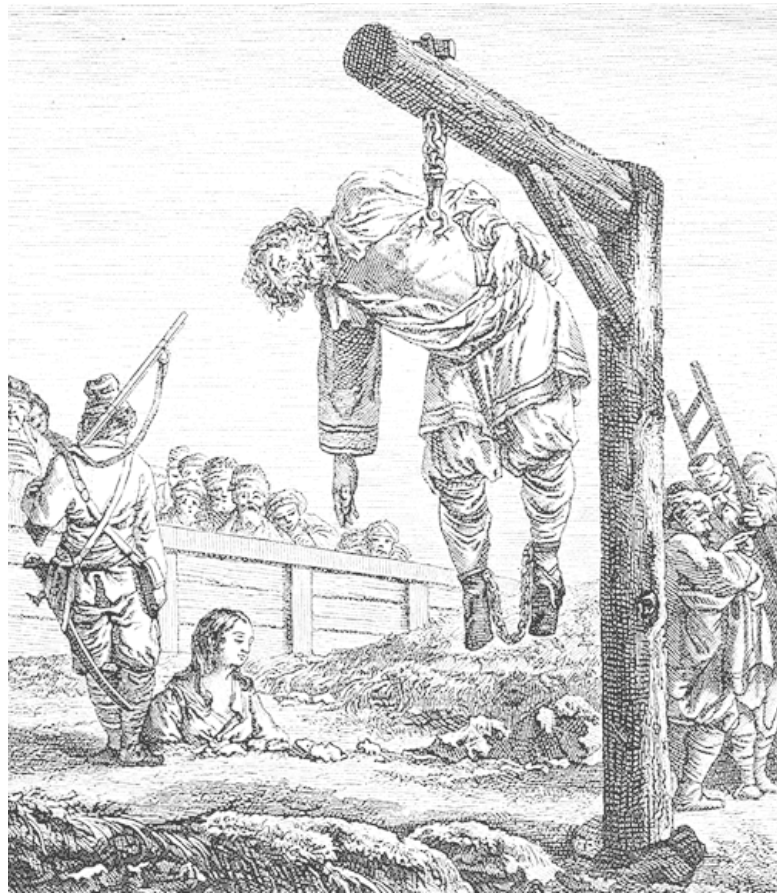
В петербургских летописях оба варианта казни присутствуют; в 1737 году, как мы знаем, милосердие одержало верх, головы преступникам отрубили.

Разумеется, все это происходило не на «маленьких эшафотах», как в случае с сожжением, а на эшафотах вполне

стандартных – высоких, позволявших всем собравшимся видеть процесс экзекуции.

Академическая Конференция, кстати сказать, не состоялась и 19 августа 1737 года, поскольку теперь уже сами академики выразили желание посетить редкое по остроте и разнообразию впечатлений зрелище.

Наконец, еще одна публичная экзекуция 1737 года: 14 ноября на эшафоте оказались трое преступников. Сначала отрубили голову некоему Егору Климову, а потом казнили фальшивомонетчиков Дмитрия Михайлова и Арину Никитину. И здесь тоже палачам пришлось потрудиться. Согласно старинному обычаю, преступников привязали к колесам – и затем им были «залиты горла оловом». Известно, что в таких случаях использовался для экзекуции металл, найденный при аресте. Страшная казнь, и воздействие расплавленного металла на человеческий организм нетрудно понять: один из мемуаристов петровского времени описывал, как металл прожег преступнику горло и вытек наземь, причем после этого жертва еще сутки оставалась жива.



Казнь повешением за ребро. Со старинной гравюры.



Казнь колесованием. Со старинной гравюры.

Император Петр I, правда, 5 февраля 1723 года велел «буде такие заливающие горло скоро не умрут, то отсечь для скорой смерти голову», и можно полагать, что слишком уж долго Михайлов с Никитиной не мучились.

Разумеется, при этой впечатляющей казни тоже присутствовали академики. А на следующий день тела казненных были доставлены в Академию наук, где выдающийся анатом и зоолог Иоганн Георг Дювернуа «анатомировал» их в присутствии двух других анатомов – Иосии Вейтбрехта и Иоганна Христиана Вильде. Можно не сомневаться, что действие расплавленного металла на человеческий организм все трое изучали особенно тщательно.

У тех тел оказалась довольно длинная посмертная биография: их использовали не только для научных опытов (в том числе для исследования нервной системы), но и для «публичных анатомических вскрытий». Осуществляли их все те же Дювернуа, Вейтбрехт и Вильде. Позже академик Вейтбрехт опубликовал первое в мире руководство по синдесмологии – разделу анатомии, изучающему соединение суставов, – и описал в нем более 90 связок, изученных им с натуры. Надо полагать, что свой посильный/посмертный вклад внесли в этот труд и фальшивомонетчики Михайлов и Никитина вкупе с Егором Климовым.

Вот такой был это год, 1737-й.

Глава 2

«Без всякия пощады казнить смертью». Высшая мера наказания в указах Петра I. Виселица как достопримечательность Троицкой площади. Смертоносный кнут. «Русские ни во что ставят смерть и не боятся ее».

Восстановим в правах хронологию: тридцать седьмой год мы изучили, а что было до него?

Разумеется, смертные казни осуществлялись в Петербурге с первых его лет. Разумеется, были они публичными: вполне привычная общественная традиция, полностью европейская, – отчего и приезжавшие на невские берега иностранные гости ничуть не удивлялись жестокости здешних экзекуций, проявляя к ним живое любопытство.

Законодательство петровского времени оставляло широкий простор для высшей меры наказания: указом 1703 года, например, предусматривалась казнь «за измену и бунт», а также «или кто кого смертным питьем или отравою уморит»; другим указом того же года вводилась казнь за незаконную порубку леса; в 1704 году к списку прибавили «прямое воровство», взяточничество при постройке бань и даже торговлю ревенем; в 1711-м велено было разбойников и воров «вешать в тех же местах, где будут пойманы и воровали». Смертной карой грозили также за кражу колоколов, бегство

из тюрьмы, продажу краденого и множество других преступлений. Беременные преступницы от казни были освобождены, но только до родов, а «после свободы казнить смертью безо всякого милосердия».

Вот и еще именной указ от 24 апреля 1713 года: «Сказать во всем Государстве (дабы неведением никто не отговаривался), что все преступники и повредители интересов Государственных с вымыслу, кроме простоты какой, таких без всякия пощады казнить смертью, деревни и животы брать, а ежели кто пощадит, тот сам тою казнию казнен будет; для того надобно изъяснить именно интересы государственные для вразумления людям».

Стиль тяжел, но смысл прозрачен: кто навредит интересам государства и казны или закроет глаза на вред и казнокрадство, будет казнен.

В том же духе был выдержан и утвержденный весной 1715 года Артикул воинский; действие этого важнейшего юридического документа лишь формально распространялось только на военных, на практике его статьи применялись и к гражданским лицам. Статей, где смертная казнь предполагалась, сто с лишним – речь идет о военных, политических, уголовных преступлениях – от дезертирства до кровосмешения.

При столь суровой законодательной базе Петербург петровской поры просто не мог обойтись без плах и эшафотов. Неслучайно на карте города, отпечатанной в 1717 году голландским издателем Рейнером Оттенсом, была обозначена

среди прочих достопримечательностей виселица на Троицкой площади. Некрупно, но вполне различимо. Сам быт Северной столицы подталкивал власть к широкому применению карательных мер: помимо обычного российского казнокрадства в городе процветали разбои и грабежи, и что говорить, если даже в лесистых местах у Фонтанки могли прятаться лихие люди, нападавшие на мирных обывателей.

В общем – казнили, но за период до зимы 1709/10 годов мы знаем об этом лишь приблизительно, в категориях «было/ не было». А вот начиная с той зимы, имеются данные более вещественные. Кажется, первые описания публичных смертных казней в Санкт-Петербурге оставил датский посланник в России Юст Юль. Отправленный ко двору царя Петра для решения насущных политических вопросов, он едва ли не каждый свой шаг фиксировал в подробнейшем дневнике. Мы знаем, например, что, когда в марте 1710 года он въехал в растущую Северную столицу России, поселили его здесь без лишних почестей, чему наш герой посвятил отдельную lamentацию: «Русские не считают себя обязанными заботиться о том, как устроить на квартире иностранного посланника, и находят достаточным отвести ему дом, а довольно ли он велик для него и для его людей и как посланник в нем поместится – об этом предоставляют заботиться ему самому».



Фрагмент карты Санкт-Петербурга 1717 года.

Не вполне европейцы эти русские, что уж скажешь.

А уже 1 апреля Юст Юль записывает услышанную им историю, имевшую место в Петербурге предшествовавшей зимой: несколько каторжников решили бежать с галер, для чего изготовили фальшивые паспорта, заверив их поддельными же подписью и печатью. Преступников поймали. И вот оно, самое раннее в петербургской историографии свидетельство о публичной смертной казни: «Артисты эти были частью повешены, частью (наказаны) кнутом. Главным зачинщикам (этого дела) сломали руки и ноги и положили жи-

выми на колеса – зрелище возмутительное и ужасное! Ибо в летнее время люди (подвергающиеся этой казни) иногда в продолжение четырех-пяти дней лежат живые и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу – как было и в настоящем случае – мороз прекращает их жизнь в более короткий срок».

Пояснения в скобках, поясним читателю, это вольности переводчика, позволившего себе прояснить некоторые высказывания датского посланника.

Отметим и другое: всего несколько лет прошло с момента закладки Северной столицы, а уже в ее биографию вписаны не только повешение, но и колесование. Запись Юста Юля заставляет нас обратить внимание, кстати, на еще одну экзекуцию, которая формально смертной казнью не являлась, но нередко прекращала жизни терзаемых. Речь о наказании кнутом, и об этом грозном инструменте палача датчанин оставил отдельную запись: «Кнут есть особенный бич, сделанный из пергамента и сваренный в молоке. Он до того тверд и востр, что им (можно) рубить, как мечом. Иным осужденным на кнут скручивают назад (руки) и за руки (же), вывихивая их, вздергивают на особого рода виселицу, какие в старину употреблялись и у нас; затем (уже) секут. Это называется «висячим кнутом». При совершении казни палач подбегает к (осужденному) двумя-тремя прыжками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с

трех ударов убить человека до смерти. Вообще же после 50 ударов редко кто остается жив».

Пятьдесят ударов: Юст Юль отмерил роковую черту, за которой шансы человека на спасение становились призрачными. Дело было не только в силе ударов, хотя и они впечатляли: немецкий путешественник Адам Олеарий еще в XVII веке писал, что спины наказанных кнутом людей «не сохранили целой кожи даже на палец шириною, они были похожи на животных, с которых содрали кожу». Дело было и в том, что наказание кнутом осуществлялось крайне неспешно, на каждые двадцать ударов палачу требовался час. Провести столько времени под ударами на плахе и остаться в живых мог только самый крепкий человек.

Верная смерть, но еще более мучительная, чем при смертной казни. Поэтому милостивая замена плахи на кнут, случавшаяся иногда в петровские времена, была на деле милостью довольно сомнительной.

Известная петербургская история: несанкционированные порубки в березовой роще на Адмиралтейской стороне, вызвавшие гнев монарха. Местные жители знали, конечно, что державный основатель относится к лесам рачительно и ревностно, но соблазн и нужда заставили их пренебречь царскими запретами. В березовую рощу ходили за дровами и стройматериалом «не токмо из простонародных, но и из офицеров».

Узнав о происходящем, царь пришел в ярость. Андрей

Иванович Богданов, едва ли не первый летописец Петербурга, так описывал дальнейшее: «Тотчас повелел оных рубящих переловить, и во всех обывательских домах того лесу обыскивать, где по многим обыскам таких винных людей всякого чина не одно сто нашлося, которые по розыску за такой рубленной запрещенной лес осуждены были. Из оных, по жеребью, десятого человека повелено было вешать, а прочих жесточайшими наказаниями наказывать...»

Каждого десятого по жеребью: популярная мера наказания в те времена. Так же по жеребью лишали жизни каждого десятого солдата из числа тех, что бежали с поля брани. Но вот он, жест монаршего милосердия: «по многому Матернему благоутробному упрощению Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексиевны, милостивно упросила Его Величества избавить оных от смертной казни и толикого гнева, в чем от Ея Величества и исходатайствовано».

От смерти избавились, но... Как сказано в именном указе от 9 февраля 1720 года, «учинено наказание, биты кнутом, и запятнав, сосланы вечно, а Феофилаьев бит кнутом же, и сослан на десять лет... а иные гоняты шпицрутен, морскими кошками и леньками».

Можно не сомневаться: некоторые из «помилованных» окончили жизни прямо под кнутом палача или же вскоре после экзекуции. Не намного больше повезло тем, кому достались шпицрутены, еще одно поистине смертоносное орудие

телесных наказаний, но о них мы еще расскажем в свою очередь, а пока вернемся к Юсту Юлю и его записям.

Апрель, май, июнь, июль 1710 года – едва ли не каждый день посланник записывает в своем дневнике свежие впечатления о российской жизни, а 8 августа внимания его удостаивается большой пожар первого петербургского Гостиного двора, что был выстроен на Троицкой площади, главной тогда площади города. Огонь полыхнул поздним вечером, и действие его было сокрушительным: «Весь базар и суконные лавки, числом с лишком 70, обращены в пепел; на площади не осталось ни одного дома; все, что только могло сгореть, сгорело вплоть до болота, отделяющего базар от прочих домов».

Огонь, как писал другой современник, совершил свое разрушительное дело «едва ли не за час; при этом многое было разграблено, и купцы, по их состоянию, конечно, понесли большие убытки».

Юст Юль сожалел тогда об отсутствии Петра Великого в Петербурге: датчанин полагал, что личное участие самодержца могло бы предупредить столь серьезные бедствия, тогда в его отсутствие «здешний простой народ равнодушно смотрит на пламя, и ни убеждениями, ни бранью, ни даже деньгами нельзя побудить его принять участие в тушении».

Равнодушие, однако, исчезало напрочь, когда возникала возможность поживы. Так случилось и на пожаре 8 августа, но мародерам не повезло: «Восьмерых солдат и одного кре-

стьянина схватили с поличным. Впоследствии все они приговорены были к повешению».

И вот Юст Юль впервые присутствует на петербургской казни: «Виселицы, числом четыре, были поставлены по углам выгоревшей площади. (Преступников) привели на место казни, как скотов на бойню; ни священника, ни (иного) духовного (лица) при них не было. Прежде всего без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу (приставленную к виселице), он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном; потом три раза перекрестился, когда его сбрасывали с лестницы. Замечательно, что, будучи уже сброшен с нее и вися (на воздухе), он еще раз осенил себя крестом (ибо здесь /приговоренным/ при повешении рук не связывают). Затем он поднял (было) руку для нового крестного знамения, (но) она (наконец бессильно) упала. Далее (восемь осужденных) солдат попарно метали между собою жребий, потом метали его четверо проигравших, и в конце концов из солдат были повешены только двое. Удивительно, что один из них, будучи сброшен с лестницы и уже вися (на веревке), перекрестился дважды и поднял было руку в третий раз, но уронил ее».

Двое из восьми: жребий был более суров к мародерам, чем к дезертирам. А примечание насчет несвязанных рук – это собственная ремарка Юста Юля. Публичные смертные казни тогда были делом обычным в Европе, датский чиновник

наверняка видел их и на родине, потому отметил отличие. Но еще сильнее удивился сдержанному поведению висельников. Никаких эксцессов, полное сознание необратимости происходящего и готовность принять суровый приговор. Это заставляло удивляться не только датчанина, но и других европейцев; британец Джон Перри, еще один гость петровской России, тоже отмечал: «Русские ни во что ставят смерть и не боятся ее. Вообще замечают, что, когда им приходится идти на казнь, они делают это совершенно беззаботно. Я сам видел, как многие из них шли с цепями на ногах и с зажженными восковыми свечами в руках. Проходя мимо толпы народа, они кланялись и говорили: „Простите, братцы!“ , и народ отвечал им тем же, прощаясь с ними; и так они клали головы свои на плахи и с твердым, спокойным лицом отдавали жизнь свою».

Ремарка топографическая: Троицкая площадь явно не в первый раз послужила местом публичной экзекуции, а в дальнейшем – вспомним план Оттенса – она прочно завоевала репутацию одного из главных лобных мест столицы.

Но пора уже расставаться с Юстом Юлем, а для этого познакомим читателя с еще одной выдержкой из его дневников – записью, датированной 13 августа 1710 года. Всего пять дней с момента сообщения о повешенных мародерах, и вот новое – на сей раз о казни дезертира, и снова с lamentациями о том, как же спокойно относятся русские к перспективе окончить жизнь в петле: «Царь приказал привезти на свой

корабль трех дезертиров и велел им при себе метать жребий о виселице. Того, кому жребий вынулся, подняли по приказанию (царя) на веревке к палачу, который в ожидании казни сидел на рее. Удивления достойно, с каким равнодушием относятся (русские) к смерти и как мало боятся ее. После того как (осужденному) прочтут приговор, он перекрестится, скажет «прости» окружающим и без (малейшей) печали бодро идет на (смерть), точно в ней нет ничего горького. Относительно казни этого преступника следует еще заметить, что, когда ему (уже) был прочитан приговор, царь велел стоявшему возле (его величества) священнику подойти к осужденному, утешить и напутствовать его. Но священник, (будучи), подобно всем почти духовным (лицам) в России, невежествен и глуп, отвечал, что дело свое он уже сделал, выслушал исповедь и покаяние преступника и отпустил ему грехи, и что теперь ему больше ничего не остается (ни) говорить, ни делать. (Потом) царь еще два раза обращался к священнику с тем же (приказанием), но когда услышал от него прежний отзыв, то грустный отвернулся и стал горько сетовать на низкий (умственный) уровень священников и (прочего) духовенства в (России), ничего не знающего, не понимающего и даже нередко являющегося более невежественным, чем простолюдины, которых, собственно, должно бы учить и наставлять».

Впервые в нашей книге появляется фигура священника: по традиции, он играл важную роль во всякой казни, а при-

сутствие его на экзекуции было само собой разумеющимся – настолько, что именно отсутствие духовного лица при казни мародеров было особо отмечено Юстом Юлем. Обычно священник беседовал с приговоренными, убеждал их в необходимости чистосердечного раскаяния, напоминал об ответственности перед Богом, а уже на эшафоте говорил последнее напутственное слово и давал преступникам приложиться к кресту. Так продолжалось до 1917 года.

Случалось, конечно, и то, что случалось: священник, как в описанном случае с дезертиром, откровенно пренебрегал своим долгом. Всякое бывало на казнях; вот ведь и дезертира казнили по жребию одного из трех, тогда как должны были из десяти. Но царское слово дороже разных установлений, приказал – значит, быть по тому.

1710 год. Если судить по дневникам Юста Юля, за считанные его месяцы произошло сразу несколько смертных казней – и ведь нет никаких сомнений в том, что датчанин зафиксировал лишь малую часть из них. Просто потому, что не намеревался составить исчерпывающий список экзекуций в новой российской столице.

В общем, нередки были тогда казни. Неслучайно голландский резидент, еще один дипломатический гость Петербурга, рассказывал коллегам, что однажды в петровской столице за день повесили, колесовали и подняли за ребра 24 разбойников. Может, и преувеличил, однако факт остается фактом: вид эшафота был для жителей растущего города на Неве

вполне привычным и в чем-то даже обыденным.

Глава 3

«Сказывание смерти». Сенаторы на эшафоте: дело Григория Волконского, Василия Апухтина и примкнувшего к ним комиссара Порошина. Экзекуция над сподвижниками царевича Алексея. Наступил день казни девицы Гамильтон».

Отставному полоцкому коменданту поручику лейб-гвардии Преображенского полка Никите Тимофеевичу Ржевскому повезло. Под следствие он попал из-за взяток, летом 1712 года был приговорен к смертной казни, почти два года ждал неизбежного, однако в конце концов был помилован Петром I.

Повезло, впрочем, относительно: царь заменил ему смертную казнь на политическую смерть, наказание по тем временам новое и Петром весьма ценившееся. Церемония эта была максимально приближена к казни обычной, «натуральной»: преступника доставляли к назначенному месту казни, возводили на эшафот, клали даже на плаху (или накидывали веревку на шею) – и только после паузы оглашали указ о сохранении ему жизни. Затем преступника ждали, как правило, наказание кнутом и ссылка или каторга, причем он полностью лишался гражданских прав. «Сказывание смерти» назначалось за преступления политические, за лож-

ный донос, за взятки, за насильственное растление малолетних. Близко к этому наказанию стоял обряд шельмования, официально введенный воинским уставом 1716 года за тяжкие преступления: преступник объявлялся шельмованным, то есть изверженным «из числа добрых людей и верных», причем процедура шельмования тоже предусматривала публичные действия: «Имя на виселице прибито, или шпага его от палача переломлена и вором (шелм) объявлен будет».

Шельмованного – поясним здесь – запрещалось «в компанию допускать», «таковой лишен общества добрых людей», если даже кто-нибудь «такого ограбит, побьет или ранит, или у него отымет, у него челобитья не принимать и суда ему не давать, разве до смерти кто его убьет, то яко убийца судитися будет».

В сенатских документах 1714 года зафиксировано, что именно ждало в апреле того года Никиту Ржевского: «Учинено ему в С. Петербурге за его вину перед полком кладен на плаху к смертной казни, и по свободе от смерти учинено наказание – бит кнутом; а по наказании велено его сослать в ссылку в Сибирь». Дальнейшая судьба отставного коменданта иллюстрирует, чем же политическая смерть, наказание само по себе строжайшее, была все же предпочтительней «натуральной»: вдали от столицы Ржевский находился восемь лет, а в 1722 году по случаю заключенного со Швецией мира Петр освободил своего бывшего соратника из ссылки, дозволив ему возвратиться в столицы. Это был далеко не

последний в петербургской истории случай, когда человек, преданный политической смерти, лишенный прав и сосланный в далекие провинции, возвращался к привычной жизни, достигая иногда новых карьерных и прочих высот.

Меньше повезло тем, кого политическая смерть ждала 6 апреля 1715 года, через год после экзекуции над Ржевским. В тот день из Розыскной канцелярии, что находилась в Петропавловской крепости, под конвоем («за шеренгою солдат») отправилась на Троицкую площадь целая вереница приговоренных: сенатор князь Григорий Иванович Волконский, за ним еще один сенатор Василий Андреевич Апухтин, затем петербургский вице-губернатор Яков Никитич Римский-Корсаков (любимец Александра Даниловича Меншикова и прапрадед великого композитора), секретарь вице-губернатора Литвинов, артиллерийский комиссар Порошин, посадский Филимон Аникеев, некий Голубчиков, «и за ними дьяконы Военной Канцелярии».

Все они обвинялись в хищении казенных средств и других преступлениях. Политическая смерть с приличествующими ей обрядами ждала троих: обоих сенаторов и комиссара Порошина. В походном «Юрнале» Петра I зафиксированы подробности вкуче с винами каждого из преступников: «И приведши их на площадь, где положена была плаха и топор, объявлен указ: сенатором двум Волконскому и Апухтину за вины их (что они, преступая присягу, подряжались сами чужими именами под провиант и брали дорогую цену,

и тем народу приключали тягость) указано их казнить смертию, однако от смерти освобождены, только за лживую их присягу обожжены у них языки, и имение их все взято на Государя; потом Корсакова, что он, не удоволяся Его Царского Величества жалованьем 5000 рублями на год, також подряжался ставить провиант и фураж дорогою ценою именами крестьян своих и из казны роздал денег больше 200 000 рублей, которых и собрать вскоре невозможно, також и сам брал себе денег из казны немалое число, били кнутом и на вечное житье в Сибирь, отобрав все его пожитки и деревни, кроме отцовских деревень; секретаря Литвинова за те ж дела, что Корсакова, били кнутом и сослан на каторгу; комиссара Порошина, что он за многое число денег подрядных припасов, которые были не поставлены, дал подрядчикам опись задним числом в поставке, а написал, будто те припасы в пожаре сгорели, клали на плаху и потом, простя его от смерти, били кнутом и вырезали ему ноздри, сослали на каторгу; Филимона Аникиева и Голубчикова за то, что они подряжались ставить припасы в артиллерию дорогою ценою и по согласию с помянутым Коммисаром брали деньги из казны за непоставленные припасы, биты кнутом и взят с них штраф; а Военной Канцелярии дьяков всех били батогами за то, что они, преступая указ, офицеров и унтер-офицеров и солдат отпускали в дома свои на сроки, а после их не собрали, и за то себе брали взятки. Сие наказание было чинено в присутствии Его Царского Величества».

Кнудом в тот раз, кажется, били не слишком жестоко: известно во всяком случае, что Яков Никитич Римский-Корсаков успешно перенес экзекуцию; он ушел из жизни лишь несколько лет спустя. Еще меньше пострадали те, кого били батогами, это был один из самых легких видов телесных наказаний. Камер-юнкер голштинского двора Фридрих Вильгельм Берхгольц, еще один иностранный гость Санкт-Петербурга, описывает эпизод, когда около 200 ударов батогами получил актер, игравший роль короля в домашнем спектакле у герцогини Мекленбургской, – и уже на следующий день он снова выступал на сцене: «Для меня было странно, что человек, наказанный вчера батогами, нынче опять играет с княжнами и благородными девицами: в комедии роль королевского генерала исполняла настоящая княжна, а супруги батогированного короля – родная дочь маршала вдовствующей царицы; но здесь это нипочем и считается делом весьма обыкновенным».

Апрельские экзекуции 1714 и 1715 годов – примеры того, что и в суровые петровские времена самое суровое наказание иногда смягчалось, а смерть могла миновать тех, кто к ней уже приготовился. Но так было далеко не всегда. Это в полной мере ощутил на себе иркутский воевода Лаврентий Родионович Ракитин, с 1714 по 1716 год управлявший своим городом, а затем попавший в громкую историю с несомненными признаками превышения полномочий: он «поехал за Байкал-море для принятия вышедшего из Китая с караван-

ною казною купчины Михаила Гусятникова и, будучи там, у того Гусятникова... отобрал золото и другие вещи». История всплыла наружу, результатом стали следствие и суд. Итог: в 1717 году «ему по следствию в С. – Петербурге голова отсечена». Коротко и невесело.

Тем временем уже разворачивалось знаменитое дело царевича Алексея Петровича; читатель наверняка осведомлен, что и наследника тоже приговорят к смерти, но он уйдет из жизни накануне назначенной казни, 26 июня 1718 года. (Исследователи полагают, что его убили по негласному приказу монарха, дабы не допустить зрелища публичной казни особы царской крови.)

Еще до этого в Москве предали казни нескольких сторонников царевича, в том числе Александра Васильевича Кикина, хозяина знаменитых в Петербурге Кикиных палат. Французский консул Анри Лави объяснял проведение казни именно в Москве, а не в Петербурге тем, что «Его Царское Величество не хочет осквернять свою новую столицу кровью виновных».

И все-таки очередь дошла и до Петербурга: 8 декабря 1718 года близ Гостиного двора на Троицкой площади состоялась очередная смертная казнь. День был, как записано в поденном «Юрнале», составлявшемся секретарями Александра Даниловича Меншикова, «пасмурен, с ветром от зюйда». Главным действующим лицом экзекуции оказался брат первой супруги Петра Евдокии Лопухиной, Авраам Лопухин:

его обвинили в тайной переписке с сестрой, в сочувствии к Алексею Петровичу и помощи ему. 19 ноября Сенат вынес приговор: «Казнить смертью, а движимое и недвижимое имение его все взять на государя». К смерти были приговорены и еще четверо приближенных царевича: его духовник Яков Игнатъев, протопоп Верхоспасский, камердинер Иван Афанасьев-Большой, Федор Дубровский и дьяк Федор Воронов. Еще четверым приговоренным были определены телесные наказания.

Краткое описание казни имеется в «Записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии», впервые опубликованной в XIX столетии выдающимся знатоком петровского времени Николаем Устряловым: «Учинена была экзекуция: казнили смертью, по розыскным его царского величества тайным делам, близ гостиного двора у Троицы, на въезде в Дворянскую слободу, Аврама Лопухина, дьяка Воронова, бывшего протопопа расстригу Якова Игнатъева, Ивана Афонасьева-Большого, Федора Дубровского: отсечены головы. Кнутом биты: поляк Григорий Носович, Федор Эверлаков, Афонасий Тимирев, Канбар Акинфиев, князь Федор Щербатов, которому урезан язык и вынуты ноздри».

Поправим: не Федор Щербатов, а князь Семен Иванович оказался тогда на эшафоте среди Троицкой площади. И еще два слова насчет урезания языка и вынимания (вырывания) ноздрей: производились эти экзекуции с помощью щипцов и ножа – и требовали от палача, как нетрудно понять, немалой

сноровки.

Нескоро еще петербуржцам удалось забыть зрелище этой казни: кажется, впервые в Северной столице отрубили головы сразу четверем приговоренным. Власть особо позаботилась о том, чтобы страшная картина долго стояла у горожан перед глазами. 10 декабря в той же «Записной книге» сообщается лаконично и без эмоций: «Вышеописанных казненных людей головы их поставлены на каменном столбе на железных спицах, а тела положены на столбах на колеса, который столб учрежден был близ самого Съестного рынка, что за кронверком; а до сего числа лежали тела их все в том месте, где казнены».

(Отметим вскользь, что впервые в нашей теме возникает Съестной рынок, он же Обжорный, он же Сытный, впоследствии одно из главных лобных мест Петербурга. Местность эта именовалась и Козьим болотом, под каковым именем вошла в фольклор: «Венчали ту свадьбу на Козьем болоте,/ На Козьем болотце, на Курьем коленце./ А дружка да свашка – топорик да плашка...»)

Головы Лопухина и его товарищей видел и Анри Лави – правда, в своем донесении от 23 декабря 1718 года он описывает промежуток между днем казни и 10 декабря несколько иначе, чем неведомый нам составитель «Записной книги»: «Тела казненных с головами в руках были выставлены на вид народа в течение трех дней». А когда тела клали на колеса, прибавляет дипломат, «им отрубили руки».

И еще деталь из донесения де Лави, к казни прямого от-
ношения не имеющая, но тоже любопытная: «Час спустя по-
сле вышеописанной казни Его Царское Величество созвал
членов Сената и объявил им, что, наказав государственных
преступников, он теперь обратится к наказанию тех пиявок,
которые по своей алчности обогатились имуществом своего
правосудного Государя и его подданных, интересами кото-
рых он дорожит».

Вот уж назидательный эффект, доведенный до предела! И
не скажешь ведь, что царь бросал слова на ветер: за делом
Лопухина последовали новые дела и новые расправы, в том
числе по обвинению в казнокрадстве...

Тела пятерых приближенных царевича Алексея оставались
на столбах у Съестного рынка до Пасхи, 29 марта 1719
года, когда по соизволению царя были сняты с колес и отда-
ны родственникам. Голова Авраама Лопухина, впрочем, на-
ходилась на шесте еще несколько лет. Фридрих Вильгельм
Берхгольц пишет, что в апреле 1724 года «вдова несчастно-
го Лопухина» просила Петра I о том, «чтоб голову ее мужа,
взоткнутую в Петербурге на шест, позволено было снять»,
но о царском соизволении не сообщает ни слова.

Кажется, и не было тогда соизволения.

Завершим эту главу рассказом о еще одной казни, одной
из самых резонансных в петровские времена. Год 1719-й, со-
общение в «Записной книге Санкт-Петербургской гарнизон-
ной канцелярии» весьма кратко: «Казнена смертью дому его

величества девица Марья Данилова: отсечена голова».

Мария Данилова, лишившаяся жизни на эшафоте, – это была фрейлина Екатерины I Мария Даниловна Гамильтон, чья история гибели и сама гибель красочно описаны во многих источниках. К смерти она была приговорена за то, что трижды «вытравляла плод» своей «преступной связи» с денщиком Петра I Иваном Орловым. Известно, что некоторое время и сам Петр был к этой красавице равнодушен, но увлечение его оказалось кратким, зато связь Гамильтон с денщиком тянулась достаточно долго. Идиллию разрушил несчастный случай: Петр прогневался на денщика за пропажу одного документа, Орлов же сгоряча, не выяснив причины гнева, повинился перед государем в своей любви к Марии. «Из дальнейших расспросов, – сообщает «Русский биографический словарь», – Петр узнал, что Г. рожала детей мертвых. К несчастью для нее, незадолго до этого при очищении нечистот был найден труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку – это-то и дало повод заподозрить Г. в детоубийстве. Кроме того, Г. была обвинена в краже денег и алмазных вещей у государыни».

Следствие было небыстрым, но суровым. Приговор состоялся 27 ноября 1718 года, смертной казни Марии Гамильтон пришлось ждать несколько месяцев. Придворные и царица, приняв отсрочку за жалость Петра к приговоренной, пытались его умиловить – но безрезультатно. Исполнение приговора состоялось 14 марта 1719 года; день был доволь-

но ненастный – как записано в «Юрнале» Меншикова, «пасмурный, с мразом и с ветром от веста».

Академик Якоб Штелин в «Подлинных анекдотах Петра Великаго» с живыми подробностями описывает процедуру казни. Сам Штелин свидетелем события не был – он и родился-то в 1709 году, а в Россию прибыл на четверть века позже, но в основу его рассказа легло свидетельство некоего «Фуциуса, придворного при Петре Великом столяра, видевшего ту казнь»: «Наступил день казни девицы Гамильтон; преступницу привели на лобное место, одеянную в белое шелковое платье с черными лентами. Царь сам не преминул быть при сем печальном зрелище, простился с нею и сказал ей: “Поелику ты преступила Божеский и государственный закон, то я тебя не могу спасти. Снеси с бодростью духа сие наказание, принеси Богу чистое молитвою покаяние и верь, что он твое прегрешение, яко милосердый судия, простит”. Потом стала она на колени и начала молиться; а как царь отворотился, то получила она рукою палача смертный удар».

По легенде, голова казненной была положена в банку со спиртом и отдана впоследствии на хранение в Кунсткамеру. Только в начале 1780-х годов по приказанию Екатерины II страшную реликвию закопали в погребке, но и после этого, еще в пушкинские годы, сторож Кунсткамеры показывал посетителям голову мальчика 12—15 лет, выдавая ее за голову Марии Гамильтон.

Легенда, а какова в ней доля истины, никто и не узнает.

Вдохновленный историей жизни и смерти Марии Гамильтон, писатель Глеб Алексеев (ныне незаслуженно забытый) сочинил в 1930-е годы романтический рассказ, стержнем которого является тема безответной любви Петра I к приговоренной им грешнице. Описал Глеб Васильевич и день казни – в ярких красках, как и подобает писателю: «Забывая, где он, забывая про толпу, ждавшую, насторожив дыхание, – чего ждавшую? помилования или потехи, какой тешился когда-то царь, самолично рубя непокорные головы стрельцов? – не видя Толстого, который подходил к нему плетущейся походкой патера, – царь сам повел ее к помосту, перед которым она упала, наклоня голову к плахе, исполосованной, будто прошитой черными жгутами пристывшей крови. В это утро, 14 марта 1719 года, когда подал он знак палачу и сам отвернулся, чтоб не видеть и не слышать, – впервые и единожды в жизни он поступал вопреки своей воле, вопреки всему, что делал и чем жил. Стоя спиной к помосту, он судорожно раскрытыми глазами смотрел на народ, на толпу, на Россию, которая была перед ним сейчас. Он видел замороженные страхом и любопытством глаза, женские укутанные по самые брови в платок головы, наплюснутые в напускном равнодушии шапки, руки, шевелившиеся сами по себе. Эти замороженные ожиданием крови глаза не видели его, Петра. И вот, будто по громовой пушечной команде с крепостных верок, глаза толпы прикрылись разом, чтоб медленно, не веря ничему, разжаться через секунду, чтоб скользнуть взгля-

дом по небу, мокрому и низкому в насморочной питербурхской весне, чтоб увидеть Петра, стоявшего на кровавом помосте, и сморгнуть еще раз от блеска петровых глаз, смотревших поверх голов тем взглядом, каким корабельщики блуждающих кораблей ищут землю.

– Ваше величество, – позвал царя Толстой.

– А? – с минуту не понимая ничего, смотрел он на полуживой череп, окаймленный, как трауром, черным алонжевым париком. И вдруг, очнувшись, рукой отстранил Толстого, отчего тот едва не упал с помоста, поднял с земли мертвую голову, в упор смотревшую на него теплыми глазами, потушить которые не смогла даже смерть.

– Вот здесь, – сказал царь голосом столь тихим, что не слышал сам своей речи, – видим мы устройство жил на человеческой шее. Прямая и красная идет сонная артерия, а от нее видишь позвоночник... кой, я чаю, пришелся по топору пятым. Голову же сию приказываю вам, ваше сиятельство, сдать в кунсткамеру при Академии Наук на вечные хранения...

Поцеловав голову в губы, он сунул ее в руки Толстому, сошел с помоста, – не видя, пошел вперед к ожидавшей двуколке, не глядя на народ, который подался перед ним в сторону, как перед попом в церкви, который так и не сомкнулся за ним, как за ходом большого корабля долго не смыкается волна, крутясь потревоженным хвостом взбудораженного морского простора».

Глава 4

«Повесить при том месте, где оный вор Васильев помянутого повара застрелил». За что четвертовали Алексея Полибина. Дело сибирского губернатора Матвея Гагарина. Дело фискалов во главе с Алексеем Нестеровым: «Тела 4 казненных были навязаны на колеса, а головы их взоткнуты на шесты». Где хранилась голова Виллима Монса?

Читатель уже понял: в петровские времена эшафот мог ждаться человека любого сословия, хоть знатного, хоть простолюдина. Действенность этой аксиомы в полной мере испытал на себе «садовничий ученик» Тимофей Васильев, служивший в 1717—1718 годах при Летнем дворце Петра I и знавший, можно не сомневаться, каждую травинку в тогдашнем Летнем саду. Случилось, однако, страшное: по причинам, которые теперь и не установишь, Тимофей Васильев «застрелил до смерти» иностранного гражданина Индрика Лютера, служившего поваром у прусского посланника барона Густава фон Мардефельда.

Началось следствие, вину Васильева признали несомненной, вместе с ним к делу привлекли и «драгунского хлопца Юду Дулова, который с одного повара мертвого тела содрал платье и сапоги». Решение по делу принимал Александр Да-

нилович Меншиков, петербургский генерал-губернатор: 18 января 1718 го да он распорядился мародера «бить кнутом нещадно и сослать в каторгу на 10 лет», а вот ученика садовника «казнить смертью: повесить при том месте, где оный вор Васильев помянутого повара застрелил».

Как видим, в те времена и воли генерал-губернатора хватало, чтобы вынести простолюдину смертный приговор.

Разумеется, приговор был исполнен. К сожалению, излагающая эту историю «Записная книга Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии» умолчала, где же конкретно произошло убийство и следом за тем свершилась казнь. Можно лишь предполагать, что случилось все это на левом берегу Невы, поблизости от Летнего сада и поодаль от уже привычного места экзекуций на Троицкой площади.

Больше известно о провинностях и казни бывшего драгуна Великолуцкого полка Андрея Полибина. Странный это был человек, с путаной и местами темной биографией: служил, в 1714 году подался в бега, еще тремя годами позже за кражу лошади был посажен под караул, в январе 1718-го сказал за собой «слово и дело государево» – и вот тут началась совсем новая его жизнь.

Жизнь, которая привела к смерти. Потому что после первого доноса на неких Челищевых Полибин вошел во вкус, изветы посыпались один за другим. Двух начальников розыскных канцелярий – Лобанова-Ростовского и Чебышева – он обвинил в намерении убить царя. Рязанского архиерея –

с связи с предателем Мазепой. Стольника Лопухина – в желании известить государя с помощью разных зелий и «вощаного человека». После очных ставок в застенке бывший драгун вроде бы и признался, что оговорил всех, но затем снова принялся за старое. В итоге, когда «за ложные воровские изветы» его отправили на каторгу, было оговорено особо: если и там он станет говорить «слово и дело», казнить его, не сообщая в другие ведомства.

Однако уже осенью Андрей Полибин принялся за старое: «обратился, яко пес на свою блевотину». Указом Канцелярии тайных розыскных дел его приговорили к смертной казни четвертованием. Случилось это 3 июня 1720 года за кронверком Петропавловской крепости – то есть на территории уже знакомого нам Съестного рынка, который едва ли не впервые увидел столь изощренную казнь. Из документов известно, что представляло собой четвертование: тело преступника расчленяли мечом или специальным топором, отрубая вначале руку, затем ногу, затем оставшиеся конечности, и только после всего этого – голову. Нетрудно подсчитать, что тело разрубали не на четыре части, а на пять, в конечном же итоге и вовсе на шесть – а потому казнь эту звали иногда не четвертованием, а пятерением.

Кстати, и при четвертовании допускалось проявление милосердия: при крайней снисходительности к преступнику палач отрубал голову прежде всего. Но случалось такое редко – и вряд ли Андрей Полибин оказался в числе тех, кому

в последние минуты жизни повезло.

И снова на эшафоте – человек знатный, именитый, занимавший в российском обществе высокое положение. Первый сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин долгое время был в фаворе у царя Петра, еще в 1718 году участвовал в суде над царевичем Алексеем Петровичем, но был уличен во взятках, вымогательстве, краже казенных денег и других злоупотреблениях. Тень его промелькнула уже в деле Лаврентия Ракитина, который и отбирал-то товары у купца Гусятникова на основании бумаги, полученной от Гагарина. Следствие над самим князем началось в 1719 году, причем в инструкции гвардии майору Ивану Лихареву, назначенному ехать в Сибирь «и там разыскать о худых поступках бывшего губернатора Гагарина», говорилось прямо: «Его Царское Величество изволил приказать о нем, Гагарине, сказывать в городах Сибирской губернии, что он, Гагарин, плут и недобрый человек, и в Сибири уже ему губернатором не быть».

Вынося Гагарину смертный приговор, Правительствующий Сенат ссылался на царский указ 1714 года, требовавший, «дабы у дел приставленные не дерзали никаких посулов казенных и с народу собираемых денег брать торгом, подрядом и прочие вымыслы» – и грозивший за такие преступления телесными наказаниями, шельмованием, конфискацией всего имущества или даже смертью. К бывшему сибирскому губернатору решено было применить самое суровое из наказаний. В приговоре, под которым стояли подписи Мен-

шикова, Апраксина, Кантемира и еще шести вельмож, говорилось: «За вышеописанные многие воровства его, князь Матвея Гагарина, приговорили согласно казнить смертью».

Камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц записывал буквально по горячим следам: «Когда князь Гагарин был уже приговорен к виселице и казнь должна была совершиться, царь, за день перед тем, словесно приказывал уверить его, что не только дарует ему жизнь, но и все прошлое предаст забвению, если он признается в своих, ясно доказанных, преступлениях. Но несмотря на то что многие свидетели, и в том числе родной его сын, на очных ставках убеждали в них более, нежели сколько было нужно, виновный не признался ни в чем».

Камер-юнкер пересказывал ходившие в петербургском обществе слухи, однако историки установили: в своих преступлениях князь покаялся, причем обратился к Петру в письменной форме. «Приношу вину свою пред вашим величеством, яко пред самим Богом, что правил Сибирскую губернию и делал многие дела просто, непорядочно и не приказным поведением, також многие подносы и подарки в почесть и от дел принимал и раздачи иные чинил, что и не подлежало, и в том погрешил пред вашим величеством». Матвей Петрович просил царя о помиловании и умолял отпустить его «в монастырь для пропитания, где б мог окончить живот свой», однако монарх был настроен решительно. На приговоре он оставил короткую резолюцию: «Учинить по се-

натскому приговору».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.